
Александр ЛЕПЕЩЕНКО

В ПЕРСИЮ

Повесть

Перед тем, как замолчать

Последняя тетрадка Владимира Необходимовича, переданная мне следователем Сущим, прочитана. И теперь я с глубоким удовлетворением могу благовестить о том, что мой дорогой и незабвенный учитель написал «арабскую» повесть (впрочем, одну на двоих с глубокочтимым им Федором Михайловичем Достоевским), безусловно заслуживающую публикации в литературном журнале. И неважно, что ее пронизывает «стремление к незавершенности». А вернее, так: она, эта «арабская» повесть, завершена лишь фактом смерти самого Владимира Необходимовича.

Кто же выведен на сцену жизни?

Дервиш Хаджи Доган аль-Бухари («Хаджи» — «паломник», совершивший «хадж» (путешествие) в Мекку, город в Аравии, где мусульмане поклоняются памятникам культа, считающимися священными; «Доган» — «Сокол»; аль-Бухари — «родом из Бухары»), он же Владимир Николаевич Соколов, мой учитель литературы по прозвищу Владимир Необходимович, он же верблюд Белолобый, который умирает на роستانье, следуя в Персию.

Осман (Птенец) — Алексей Гореликов, то есть я, вьюнош и выученик Владимира Необходимовича, а также судейский чиновник Оздемир-Ходжа (Внутренняя сущность) — следователь Константин Иванович Сущий.

Эмель-Джамал (Желание) — Эмма Вилкас, дева младая и выученица Владимира Необходимовича; сестры ее, Йилдиз-Джамал (Звезда) — Инга и Кюгю-Джамал (Лебедь) — Кира, брат Левент (Лев) — Лев Вилкас, а также их злобный отец Каракюртхан (Черный волк) — Эдуард Янович Вилкас.

Нурай-Джамал (Яркая луна) — Нелли Соколова, Нелька, малолетняя дочь Владимира Необходимовича; Айгуль-Хатун (Луна) — жена его Аглая Ивановна Соколова, а также купец и многосумник Явюз-Ходжа (Жестокий) — любовник ее Леонид Григорьевич Плахота.

А еще — то ли колдунья, то ли гадалка Илан-Торч (Чешуя змеи).

И конечно, Джучи-хан (Великан) — старший сын Потрясателя Вселенной Чингисхана.

Теперь, когда почти все имена названы, мне, Алексею Гореликову, соблюдая обычай, полагается замолчать. И пусть историю эту, как искусно сотканную ткань, разворачивает далее сам Хаджи Доган аль-Бухари.

Александр Анатольевич Лепещенко родился в 1977 году. Окончил факультет журналистики Волгоградского государственного университета. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, главный редактор литературного журнала «Отчий край». Лауреат премии имени Виктора Канунникова (2008), лауреат Международного литературного форума «Золотой Витязь» (2016 и 2018), лауреат Южно-Уральской международной литературной премии (2017), финалист Национальной литературной премии имени В. Г. Распутина (2020), лауреат Государственной премии Волгоградской области (2022), лауреат журнала «Российский колокол» (2022) и др. Автор повести «Монополия», романа «Смерть никто не считает» и других книг прозы. Публикуется в российских и зарубежных журналах, в «Неве» — с 2020 года. Живет в Волгограде.

Читатель, салам!¹

Сокол в небе бессилён без крыльев. Человек на земле немощен без коня.

Все, что ни случается, имеет свою причину, начало веревки влечет за собой конец ее. Взятый правильно путь через равнины вселенной приводит скитальца к намеченной цели, а ошибка и беспечность завлекут его на солончак гибели.

Если человеку выпадет случай наблюдать чрезвычайное, как то: джиннов, сотворенных из палящего пламени и являющихся слугами Ибли́са, погубившего столько невинных душ, ужасное землетрясение или убийство сына владыки невиданного и необузданного народа, вторгшегося в земли родины, — все это видевший должен поведать бумаге. А если он не обучен искусству нанизывать концом тростинки слова повести, то ему следует рассказать свои воспоминания опытному писцу, чтобы тот начертал сказанное на прочных листах в назидание внукам и правнукам.

Человек же, испытавший потрясающие события и умолчавший о них, похож на скупого, который, завернув плащом драгоценности, закапывает их в пустынном месте. Когда холодная рука смерти уже касается головы его.

Однако, отточив тростниковое перо и обмакнув его в чернила, я задумался в нерешительности... Хватит ли у меня слов и сил, чтобы правдиво рассказать о смерти старшего сына Чингисхана?.. Наемники, подсланные, вероятно, самим же беспощадным истребителем народов, убили Джучи наиболее варварским из возможных способов: они переломили молодому хану, по монгольскому обычаю, хребет.

Многие меня уговаривали поведать письменно все, что я знал и слышал о гибели Джучи-хана. Я долго колебался... Теперь же я пришел к мысли, что в моем молчании нет никакой пользы, и я решаюсь описать все. Если бы не самоотверженность судейского чиновника Оздемир-Ходжи, которому я споспешествовал, то величайшее бедствие вновь бы постигло мирных тружеников твоих полей, измученный несчастьями Хорезм...

Здесь моя речь прерывается, чтобы не забегать слишком далеко. Старые люди подтвердят, что все, описанное мною, действительно совершилось.

Упорный и терпеливый увидит благоприятный конец начатого дела, ищущий знания найдет его...

Глава первая

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА ДЖУЧИ-ХАНА

Когда монголы не заняты войной, они должны отдаваться охоте. И они должны учить своих сыновей, как охотиться на диких животных, чтобы они набирались опыта в борьбе с ними и обретали силу, энергию выносить усталость и быть способными встречать врагов, как они встречают в борьбе диких и неприрученных зверей, не шадя себя.

Аб-уль-Фарадж. Яса²

¹ Салам! — Привет! Подобные «Обращения к читателю» являются типичными для рукописей восточных авторов домонгольского периода. В целом же это реминисценция на вступление к роману «Чингисхан» Василия Яна.

² Яса (монг. «Их засаг хууль» — «Закон великой власти») — название уложения Чингисхана, которое он, по преданию, издал на великом всемонгольском курултае и которое постоянно подтверждалось его преемниками. Ни в монгольском подлиннике, ни в полном переводе Яса до нас не дошла. Мы знаем ее по сообщениям и выдержкам персидских и арабских историков. Традиционно при-

Хаджи Доган аль-Бухари обмакнул тростниковое перо в чернила и стал записывать суры из Благородной книги³: «Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи. А еще раньше Мы сотворили джиннов из палящего пламени». Дервиш взглянул на конец тростника и собрался было продолжать запись, но тут в дверь его дома настойчиво постучали.

— Кто здесь?

— Учитель, отворите... Это я, Осман...

Скрипнул засов.

— Проходи, мой ученик. Садись, — дервиш указал юноше на низкий диван с выцветшей обивкой. Поглаживая бороду, Хаджи Доган стал задавать вопросы вежливости:

— Здоров ли ты? Здорова ли твоя мать?

Осман, соблюдая обычай, также задал несколько вопросов участия и затем сказал:

— Я пришел, дабы проводить вас к судейскому чиновнику Оздемир-Ходже, которым и послан.

— Что стряслось, мой мальчик?

— Оздемир-Ходжа хотел бы с вами говорить.

— Это все?

— Нет, учитель. Еще он просил передать, что это безотлагательно.

Дервиш, надев высокий колпак и старый плащ с множеством ярких заплат, проговорил:

— Тогда я следую за тобой.

— Да-да... Тут недалеко... желтый дом, у мечети...

...Оздемир-Ходжа встретил дервиша приветливо, Османа же наградил серебряным дирхемом⁴ и отпустил.

— Наслышан о мудрости вашей, достопочтенный Хаджи Доган, потому и пригласил. Располагайтесь удобнее, сейчас принесут угощение!

Слуга, смуглый и круглолицый старик, подав желтые кусочки сахара⁵, кряженцы, начиненные мускусом, орехи, финики, пастилу, вяленую дыню и чай, удалился. Дервиш перевел взгляд на Оздемир-Ходжу, облаченного в зеленый чекмень, туго стянутый пестрым поясом.

— Прошу милости попробовать достархана!⁶ — пригласил судейский чиновник, поправляя золотую пайцзу⁷.

Обдумав гложущее, он примолвил:

нято считать, что наиболее подробные сведения о составе Ясы Чингисхана содержатся в трактате египетского писателя XV века ал-Макризи. Именно у него черпали информацию о составе Ясы все последующие интерпретаторы.

³ Благородная книга («Масхари шериф») — так мусульмане называют Коран, собрание мифических легенд и поучений, написанных основателем мусульманской религии Магомедом (570–632).

⁴ Дирхем — серебряная монета достоинством около 20 копеек, черный медный дирхем — около 2 копеек.

⁵ Сахар в то время представлял большую ценность. Он добывался в Индии и в Египте из сахарного тростника, был прозрачный желтого цвета, имел кристаллическую форму.

⁶ Достархан — угощение. Также — нарядная скатерть, расстилаемая для пиршества, происходящего на земле.

⁷ Пайцза — пластинка из металла или дерева с вырезанным на ней повелением Чингисхана; пайцза являлась пропуском для свободного проезда по монгольским владениям. Пайцза давала большие права: власти на местах должны были оказывать содействие, давать лошадей, проводников и продовольствие лицам, имевшим пайцзу. Пайцзы были различных степеней и, соответственно, отличались рисунком зверя либо птицы. Пайцза высшей степени имела рисунок, изображавший голову тигра.

— Обстоятельство чрезвычайное заставляет меня прибегнуть к помощи такого ученого человека, как вы. Э-э, требуется секретарь, а поскольку я из Хорезма уезжаю⁸, то и вы должны будете последовать за мной.

— Могу я узнать когда?

— Так, вы не отказываетесь?

— Я дервиш, если меня зовут — я иду.

— Хорошо, тогда отправляемся. Медлить нельзя — убит старший сын Потрясателя Вселенной.

— Джучи-хан убит?

— Вероятно, что смерть его насильственна, — проговорил Оздемир-Ходжа раздумчиво. — Если не докажу, что мирные труженики несчастного Хорезма не виновны, то монголы сожгут город.

— Великий Аллах, сохрани Хорезм! — взмолился Хаджи Доган. — И сохрани нас!

— Не заботьтесь ни о чем... Все необходимое — бумагу, тростниковое перо и чернильницу — даст мой слуга. Также он приготовит верблюда...

Уже час спустя Оздемир-Ходжа, сдерживавший горячего аргамака⁹, и дервиш Хаджи Доган аль-Бухари, восседавший на степенном верблюде, выехали из Хорезма и направились к солончаку, где охотился и погиб старший сын Чингисхана. Вся жара неба собиралась здесь, мерцала пыль, и даже облако над головами путников было пыльным. Тургауды¹⁰, увидев золотую пайцзу, не препятствовали их проезду. Догадка судейского чиновника о насильственной смерти подтвердилась полностью: Джучи-хану по монгольской традиции был переломлен хребет.

«Никто теперь не обвинит хорезмийцев», — подумал с некоторым облегчением Оздемир-Ходжа, осматривая тело убитого чингизида. И еще мелькнуло: «Увы, не дознаться мне, кто же подослал наемных убийц...»

Судейский чиновник повернулся к дервишу и сказал:

— Хаджи Доган, прошу вас, обмакните тростниковое перо в чернила...

— Я готов. Что следует записать?

— Запишите вот что...

А в это самое время, в ставке, Потрясатель Вселенной пронизывал холодным взглядом зеленоватых глаз своего сановника. Верный Махмуд-Ялвач, закрывая лицо руками, только что поведал Чингисхану о смерти сына его, уже ставшего «священной тенью». Сделал это сановник иносказательно, заменяя имя Джучи другими почтительными словами¹¹:

— Получивший твое повеление правитель северными народами объявил бекам, что готовит великий поход...

⁸ Важным аспектом обязанности служения Монгольской империи было то, что эта повинность поровну распределялась среди всех подданных. «Существует равенство. Каждый человек работает столько же, сколько другой; нет различия. Никакого внимания не уделяется богатству или значимости» (Джувеини, раздел V). А вот на потомков Али-бека Абу-талеба, всех до единого, не были наложены подати и налоги, а также ни на кого из факиров, тцецов аль-Корана, законодатцев, лекарей, мужей науки, посвятивших себя молитве и отшельничеству, муэдзинов и омывающих тела покойников не были налагаемы подати и налоги.

⁹ Аргамак — древнерусский благородный конь, порода быстрых и легких верховых лошадей; затем — лучшая лошадь в Средней Азии; от слова «ар» — светлый, лучший, благородный. «Аргамак мой степной ходит весело; / Как стекло горит сабля вострая...» (М. Ю. Лермонтов).

¹⁰ Тургауды (монг. «турхаг» — «большой») — личная гвардия Чингисхана и его наследников, сыновей и внуков (Чингисидов).

¹¹ Разговор производится по тексту романа «Чингисхан» Василия Яна.

— Против меня?
— Нет, великий мой государь! Острия копий были направлены на запад, в сторону болгар, кипчаков, саксинов и урусов. Но поход не мог состояться, и все воины разъехались по своим кочевьям. Как удар грома в ясный день, великое горе обрушилось на всех!

— Объясни!

— Для ханской семьи была устроена в степи большая охота. Пять тысяч нукеров растянулись облавой по равнине и выгнали из камышей и кабанов, и волков, и несколько тигров. А другие пять тысяч всадников пригнали издалека, из степи, и сайгаков, и джейранов, и диких лошадей. Когда вечером после охоты запылали костры и должно было начаться пиршество, нукеры не могли найти того, кто из самых страшных боев выходил не задетым стрелами. Его долго искали и наконец увидели, но как! Он лежал одинокий в степи, еще живой, на нем не было ни капли крови, но он не мог произнести ни одного слова, только смотрел понимающими глазами, полными гнева...

— Неужели погиб... он...

— Погиб дорогой и самый близкий тебе багатур, покрытый славою побед, — неизвестные злодеи переломили ему хребет.

Лицо Чингисхана исказилось. Руки смяли соболье покрывало. Он шептал:

— Утчигин¹² поторопился... Большого багатура и опытного полководца уже нет... а заменить его некем! Кто теперь... правителем Хорезма?

— Твой юный внук, хан Бату, под руководством его мудрой матери. Она созвала нукеров и вместе с мальчиком поднялась на курган. Бату-хан сидел на гнедом боевом коне своего отца. Горячий мальчик закричал нукерам: «Слушайте, багатуры, победители четырех сторон мира! Ваши мечи уже заржавели! Точите их на черном камне! Я поведу вас туда, на запад, через великую реку Итиль. Мы пронесемся грозой через земли трусливых народов, и я раздвину царство моего деда Чингисхана до последних границ вселенной... И я клянусь также, что я разыщу и сварю живыми в котле тех злодеев, которые погубили моего отца!

Чингисхан, потемневший и страшный, с блуждающими глазами, приподнялся на локоть и, задыхаясь, выдал слова:

— Хорошо быть молодым... даже с колодкой на шее... когда впереди сверкают победы... Но Бату еще мальчик... Он наделает ошибок... и его тоже погубят! Повелеваем... чтобы рядом с Бату... всегда был советником... мой самый верный... барс с отгрызенной лапой... осторожный Субудай-багатур... Он его обережет и научит воевать... Бату продолжит мои победы... и над вселенной... протянется монгольская рука...

...Услышь судейский чиновник Оздемир-Ходжа возглас беспощадного истребителя народов «Утчигин поторопился», возможно, он более не думал бы, что не дознаться, кто же подослал наемных убийц к Джучи-хану. Но и дознайся Оздемир-Ходжа до сути, он бы молчал. Почему? Да потому, что осла узнают по ушам, глупца — по словам. А уж глупцом, ищущим смерти, Оздемир-Ходжа не был. Ведь Чингисхан не пощадил бы, откройся вдруг тайна гибели сына его Джучи. В любом случае Хорезму более не грозила расправа монголов. Оздемир-Ходжа, собрав доказательства, избавил город от занесенного меча. А еще судейский чиновник убедился в верности поговорки: «Привязывай коня на открытом месте, доверяйся надежному человеку». Теперь он и впрямь мог доверяться дервишу Хаджи Догану аль-Бухари.

¹² Утчигин (Тэмуге получил приставку к имени «отчигин» — монг. «младший») — брат Повелителя Вселенной, которому, по версии академика В. Бартольда, Чингисхан приказал убить своего старшего сына Джучи-хана в случае неповиновения. Этой же версии придерживался и писатель В. Г. Ян.

Глава вторая**«КТО ИМЕЕТ ДЕЛО С МЕДОМ,
ТОТ ОБЛИЗЫВАЕТ ПАЛЬЦЫ...»**

Мужчина не ест солнце, чтобы являться во всех местах людям; жена должна, когда муж займется охотой или войной, держать дом в благолепии и порядке, так что если заедет в дом гонец или гость, увидит все в порядке, и она приготовит хорошее кушанье, и гость не будет нуждаться ни в чем, непременно она доставит мужу хорошую репутацию и возвысит имя его в собраниях, подобно горе, воздымающей вершину. Хорошие мужья узнаются по хорошим женам. Если же жена будет дурна и бестолкова, без рассудка и порядка, будут от нее видны дурные качества мужа. Полустишие к этому: в доме все походит на хозяина.

Аб-уль-Фарадж. Яса

Лучше безногая, чем непутевая.

Монгольская поговорка

Осман, Эмель-Джамал, Кюгю-Джамал, Йилдиз-Джамал и Левент встали, чтобы поприветствовать своего учителя Хаджи Догана аль-Бухари, он же кивнув им, попросил садиться и слушать.

— Отложите калямы¹³, — снял остроконечный колпак дервиш, — не надо записывать... Поговорим о природе власти...

Развернув пожелтевший свиток и оглядев учеников, он продолжал:

— Однажды Чингисхан спросил у Боорчун-нойона, который был главой беков: «Наслаждение и ликование человека, в чем состоит?» Боорчу сказал: «Состоит в том, чтобы человеку, взяв на руку своего сокола синецветного, который питался керкесом и зимой переменил перья, и сев на хорошего мерина откормленного, охотиться ранней весной за синеголовыми птицами и одеваться в хорошие платья и одежды».

Чингисхан обратился к Бургулу: «Ты скажешь так же?» Бургул отвечивал: «Наслаждение состоит в том, чтобы животные, подобные кречету, летали над журавлями, пока не низвергнут их с воздуха ранами когтей и не возьмут их».

После того монгольский каган спросил так же у детей Хубилая, они ответили: «Блаженство человека состоит в охоте и в умении заставить по своему желанию птиц летать». Тогда Чингисхан объяснил: «Вы все нехорошо сказали. Наслаждение и блаженство человека состоит в том, чтобы подавить возмущившегося и победить врага, вырвать его из корня, взять то, что он имеет самого дорогого, заставить вопить слугителей их, заставить течь слезы по лицу и носу их, сидеть на их приятно идущих жирных меринах, любоваться розовыми щечками их жен и целовать и сладкие алые губы — сосать».

— Но, учитель, — вскинулся вдруг Осман, — вы же не оправдываете такую... такую вот природу власти? Аллах не оправдал бы...

¹³ Калям — остро отточенный камыш, служивший вместо пера.

Хаджи Доган аль-Бухари поворотился к Осману:

— Я-гу-у! Я-хак! Ле илляхи илля-гу-у!¹⁴ Я рад, мой мальчик, что ты понимаешь... всю гнусность такой природы... Да, власть, безусловно, — сила. А сила не может быть смешной... что, конечно же, верно... Но она, власть, не может быть и чудовищной... Ведь урусы говорят: «Не в силе Бог, а в правде!»¹⁵

Помолчав и поправив белую повязку хаджи, дервиш сказал:

— И все-таки отдадим должное Священному Правителю! Он желал бы «возвеличивать и уважать чистых, непорочных, справедливых, ученых и мудрых, к каким бы людям они ни принадлежали; и осуждать злых и несправедливых людей». У Григора из Алканца мы можем, кстати, прочесть: «Первым является следующее: любите друг друга; во-вторых, не совершайте прелюбодеяние; не крадите; не лжесвидетельствуйте; не предавайте кого-либо. Уважайте стариков и бедных». Так говорит Чингисхан. А у Макризи можно прочесть, что он, Чингисхан, «приказал уважать все религии и не выказывать предпочтения какой-либо из них».

— Да не покажутся обидой мои слова, учитель, — голос Эмель-Джамал был тих, — а что Священный Правитель предписал женщинам?

— Он предписал, чтобы женщины, сопутствующие войскам, исполняли труды и обязанности мужчин, в то время как последние отлучились на битву. Он также повелел им, женщинам, представлять в начале каждого года всех своих дочерей хану, чтобы он выбрал для себя и для своих детей...

Эмель-Джамал, вздрогнув, взглянула на сестер, а Йилдиз-Джамал и Кюгю-Джамал взглянули на нее.

— Наш отец, Каракюрт-хан, говорит, что женщина хороша, пока не стала женой, лиса красива, пока ее не убил... Почему он так говорит? — вздохнула девочка.

— Быть может, это говорит в нем затаенная обида... — отвечивал дервиш. — Но вот послушайте, послушайте все... И ты, Левент, не отвлекайся и внемли... Была у одного мужа жена, да только такая злоязычная, что все ему наперекор говорила. Бывало, он скажет: «Бритое», а уж она непременно кричит: «Стриженое!» Всякий день бранились! Надоела жена мужу, вот он и стал думать, как бы от нее избавиться. Идут они раз к реке, а вместо моста на плотине лежит перекладинка. «Постой, — думает он, — вот теперь-то я ее изведу...» Как стала она переходить по перекладинке, он и говорит: «Смотри, жена, не трясись, не то как раз утонешь!» — «Так вот же нарочно буду!» Тряслась, тряслась, да и угодила в воду. Жалко ему стало жены. Влез он в воду и идет в гору (вверх, против течения). «Что ты тут ищешь?» — говорят ему прохожие. «А вот жена утонула, вон с этой перекладинки упала!» — «Глупец, о, глупец! Ты бы шел вниз по реке, а не в гору: ее теперь, конечно, снесло». — «Эх, молчите! Она все делала наперекор, так уж и теперь, верно, пошла против воды».

Шутливый рассказ дервиша развеселил учеников, а он, посерьезнев и обращаясь теперь уже к одной лишь Эмель-Джамал, проговорил:

— Нерадивый хан среди своих подданных — все равно герой, плохой муж рядом со своей женой — все равно багатур...

¹⁴ Этот обычный арабский призыв дервишей означает: «Да, это Он, справедливый, нет другого Аллаха, кроме Него!»

¹⁵ Данное высказывание восходит к первой версии «Повести о житии Александра Невского» и адресовано Александром Ярославичем воинам княжеской дружины перед выходом из Новгорода на битву со шведами. Доктор политических наук Б. Ф. Мартынов считает формулу «Не в силе Бог, а в правде!» основой особой, «русской» версии теории политического реализма. По мнению Мартынова, «при всех возможных в настоящем и будущем (и неоднократно проявлявшихся в прошлом) практических ипостасях этой „правды“, подобная версия... максимально корреспондирует цивилизационному контенту России».

— Дорогой учитель, спасибо, что вы всегда находите слова утешения! — вздохнула вновь Эмель-Джамал.

— Позволь и мне благодарить тебя, моя милая!

— Но за что благодарите вы?

— За твое, Эмель-Джамал, напоминание. Право, какой из десяти пальцев ни укусишь, одинаково больно...

Когда после урока ученики попрощались и ушли, Хаджи Доган аль-Бухари, оглядывая опустевший дом, с горечью сказал:

— Уже два полных дня не слышал я журчания голоса моей доченьки, моей Нурай-Джамал...

И действительно двумя днями ранее жена его Айгуль-Хатун забрала девочку и во дворилась в большом белокаменном доме купца Явюз-Ходжи. Не таилась, вела себя как полновластная хозяйка и госпожа. Соседи — городская знать — кланялись ей, неверной, рабы прислуживали, никто не посмел сказать чего-либо предосудительного.

А что же дервиш? Вспоминая надменное лицо Явюз-Ходжи, ему, дервишу, всякий раз делалось не по себе. Богатейший купец Хорезма, поставлявший драгоценнейшие товары ко двору самого монгольского кагана¹⁶, возжелал вдруг чужую жену. Да, его, Хаджи Догана, жену. Как он, бедняк, обыкновенный учитель и дервиш, воспрепятствовал бы этому? Как удержал бы подле себя такую красивую женщину? Яса Чингисхана, конечно же, предписывала, что прелюбодеяние наказывается смертью, а виновные в таком могут быть убиваемы на месте. Только вот Хаджи Доган никогда не причинил бы вреда столь любимой им Айгуль-Хатун, никогда не пожаловался бы судье на ее любовника.

«Что поделаешь с ней? — придавило дервиша. — А с ним? Да уж, кто имеет дело с медом, тот облизывает пальцы...»

Глава третья

ДЖИНН И ДЕРВИШ¹⁷

Что там, за ветхой занавеской Тьмы?

В гаданиях запутались умы.

Когда же с треском лопнет занавеска,

Увидим все, как ошибались мы.

Омар Хайям. Рубаи

¹⁶ Каган — «хан ханов», повелитель монголов и татар. На знамени кагана был вышит шелками серый кречет, держащий в когтях черного ворона. Именно кречет считался покровителем рода Чингисхана, так как бедный предок его Бодуанчар жил исключительно благодаря охоте своего прирученного кречета.

¹⁷ Глава «Джинн и дервиш» — это больше чем калька с главы «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Это — прямое обращение к данной главе. Тюркские имена и некоторые слова, введенные в оригинальный текст «Братьев Карамазовых», — всего лишь модернистский прием, за которым проглядывает желание автора акцентировать внимание на «новое чувство самого человека». И в этом автор солидарен с В. В. Розановым, который писал: «Достоевский есть самый интимный, самый внутренний писатель, так что его читая — как будто не другого кого-то читаешь, а слушаешь свою же душу, только глубже, чем обычно, чем всегда. <...> Достоевский всю жизнь пытался выразить, и иногда это ему почти удавалось (20 страниц, 50 страниц), совершенно новое мироощущение, в каком к Богу и миру не стоял ни один человек. Это — не наука, не поэзия, не философия, наконец, это и не религия или по крайней мере не одна она, а просто новое чувство самого человека, еще открывшийся слух его, еще открывшееся зрение его, но зрение души и слух тоже души».

Первыми на Земле были поселены джинны. После того как в своей аморальности и вражде они перешли все возможные границы, Всевышний ниспослал к ним Иблиса и некоторое количество ангелов, которые силой остановили бесчестие и войны. Затем был сотворен Адам.

Аз-Зухайли. Освещающий тафси́р

Дервиш Хаджи Догана аль-Бухари был теперь, в этот вечер, именно как раз накануне белой горячки, которая наконец уже вполне овладела его издавна расстроенным, но упорно сопротивлявшимся болезни организмом. Только ужасным напряжением воли своей он успел на время отдалить болезнь, мечтая, разумеется, совсем преодолеть ее. Он знал, что нездоров, но ему с отвращением не хотелось быть больным в это время, в эти наступающие роковые минуты его жизни, когда надо было быть налицо, высказать свое слово смело и решительно и самому «оправдать себя пред собою». Он, впрочем, сходил однажды к новому, прибывшему из Гурганджа лекарю Забану. Лекарь, выслушав и осмотрев его, заключил, что у него вроде даже как бы расстройства в мозгу, и несколько не удивился некоторому признанию, которое тот с отвращением, однако, сделал ему. «Галлюцинации в вашем состоянии очень возможны, — решил лекарь, — хотя надо бы их и проверить... вообще же необходимо начать лечение серьезно, не теряя ни минуты, не то будет плохо». Но Хаджи Доган, выйдя от него, благоразумного совета не исполнил и лечь лечиться пренебрег: «Хожу ведь, силы есть пока, свалюсь — дело другое, тогда пусть лечит, кто хочет», — решил он, махнув рукой. Итак, он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреде, и упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим некто, Аллах знает как вошедший, потому что его еще не было в комнате, когда Хаджи Доган, возвратясь от Явюз-Ходжи, вступил в нее. Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта хорезмиец, лет уже не молодых, «qui frisait la cinquantaine»¹⁸, как говорят франки, с не очень сильною проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах и в стриженной бородке клином. Одет он был в какой-то коричневый чекмень, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды, так что из богатых, достаточных людей таких уже два года никто не носил. Белье, пояс, все было так, как и у всех богачей, но белье, если взглядеться ближе, было грязновато, а широкий пояс очень потерт. Полосатые шаровары гостя сидели превосходно, но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки, как теперь уже перестали носить, равно как и мягкая белая чалма из мухояра, которую уже слишком не по сезону притащил с собою гость. Словом, был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах.

Похоже было на то, что незнакомец принадлежит к разряду бывших белоручекбеков, процветавших еще при хорезм-шахе; очевидно, выдавший свет и порядочное общество, имевший когда-то связи и сохранивший их, пожалуй, и до сих пор, но мало-помалу с обеднением после веселой жизни в молодости и недавнего воцарения монголов обратившийся вроде как бы в приживальщика хорошего тона, скитающегося по добрым старым знакомым, которые принимают его за уживчивый складный характер, да еще и ввиду того, что все же порядочный человек, которого даже и при ком угодно можно посадить у себя за стол, хотя, конечно, на скромное место. Такие приживальщики, складного характера хорезмийцы, умеющие порассказать, составить партию в нарды и решительно не любящие никаких поручений, если их им навязы-

¹⁸ «Под пятьдесят» (франц.).

вают, обыкновенно одиноки, или холостяки, или вдовцы, может быть и имеющие детей, но дети их воспитываются всегда где-то далеко, у каких-нибудь теток, о которых хорезмиец никогда почти не упоминает в порядочном обществе, как бы несколько стыдясь такого родства. От детей же отвыкает мало-помалу совсем, изредка получая от них к своим именинам поздравительные письма и иногда даже отвечая на них. Физиономия неожиданного гостя была не то чтобы добродушная, а опять-таки складная и готовая, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выражение. На среднем пальце правой руки красовался массивный золотой перстень с недорогим опалом. Хаджи Доган злобно молчал и не хотел заговаривать. Гость ждал и именно сидел как приживальщик, только что сошедший сверху из отведенной ему комнаты вниз к чаю составить хозяйину компанию, но смиренно молчавший ввиду того, что хозяин занят и о чем-то нахмуренно думает; готовый, однако, ко всякому любезному разговору, только лишь хозяин начнет его. Вдруг лицо его выразило как бы некоторую внезапную озабоченность.

— Послушай, — начал он дервишу, — ты извини, я только чтобы напомнить: ты ведь к Явюз-Ходже пошел с тем, чтоб узнать про Айгуль-Хатун, а ушел ничего об ней не узнав, верно, забыл...

— Дзе-дзе, — вырвалось вдруг у Хаджи Догана, и лицо его омрачилось заботой, — да, я забыл... Впрочем, теперь все равно, все до завтра, — пробормотал он про себя. — А ты, — раздражительно обратился он к гостю, — это я сам сейчас должен был вспомнить, потому что именно об этом томило тоской! Что ты выскочил, так я тебе и поверю, что это ты подсказал, а не я сам вспомнил?

— А не верь, — ласково усмехнулся хорезмиец. — Что за вера насилим? Притом же в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные. Мухаммед поверил не потому, что увидел Джибраила, приближенного к Аллаху, а потому, что еще прежде желал поверить. Вот, например, имамы... я их очень люблю... вообрази, они полагают, что полезны для веры, потому что им шайтаны с того света рожки показывают. «Это, дескать, доказательство уже, так сказать, материальное, что есть тот свет». Тот свет и материальные доказательства, дзе-дзе! И наконец, если доказан иблис, то еще неизвестно, доказан ли Аллах? Я хочу в идеалистическое общество записаться, оппозицию у них буду делать: «дескать, реалист, а не материалист, хе-хе!»

— Слушай, — встал вдруг из-за стола Хаджи Доган. — Я теперь точно в бреду... и, уж конечно, в бреду... ври, что хочешь, мне все равно! Ты меня не приведешь в иступление, как в прошлый раз. Мне только чего-то стыдно... Я хочу ходить по комнате... Я тебя иногда не вижу и голоса твоего даже не слышу, как в прошлый раз, но всегда угадываю то, что ты мелешь, потому что это я, я сам говорю, а не ты! Не знаю только, спал ли я в прошлый раз или видел тебя наяву? Вот я обмочу чалму холодной водой и оберну голову, и авось ты испаришься.

Хаджи Доган прошел в угол, взял чалму, исполнил, как сказал, и с мокрой чалмой на голове стал ходить взад и вперед по комнате.

— Мне нравится, что мы с тобой прямо стали на «ты», — начал было гость.

— Дурак, — засмеялся дервиш, — что ж я «вы», что ли, стану тебе говорить. Я теперь весел, только в виске болит... и темя... только, пожалуйста, не философствуй, как в прошлый раз. Если не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое. Сплетничай, ведь ты приживальщик, так сплетничай. Навяжется же такой кошмар! Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолею. Не свезут в дом скорби и печали!

— *C'est charmant*¹⁹, приживальщик. Да я именно в своем виде. Кто ж я на земле, как не приживальщик? Кстати, я ведь слушаю тебя и немножко дивлюсь: ты меня как

¹⁹ Это восхитительно (франц.).

будто уже начинаешь помаленьку принимать за нечто и в самом деле, а не за твою только фантазию, как стоял на том в прошлый раз...

— Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду, — как-то яростно даже вскричал Хаджи Доган. — Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, и вижу, что некоторое время надобно прострадать. Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых. С этой стороны ты мог бы быть даже мне любопытен, если бы только мне было время с тобой возиться...

— Позволь, позволь, я тебя уличу: давеча у глиняного светильника, когда ты вскинулся на Эмель-Джамал и закричал ей: «Ты от него узнала! Почему ты узнала, что он ко мне ходит?» Это ведь ты про меня вспоминал. Стало быть, одно маленькое мгновение ведь верил же, верил, что я действительно есмь, — мягко засмеялся хорезмиец.

— Да, это была слабость природы... но я не мог тебе верить. Я не знаю, спал ли я или ходил прошлый раз. Я, может быть, тогда тебя только во сне видел, а вовсе не наяву...

— А зачем ты давеча с ней так сурово, с Эмель-Джамал-то? Она милая; я пред ней за старца Зеки виноват.

— Молчи про Эмель-Джамал! Как ты смеешь, раб! — опять засмеялся Хаджи Доган.

— Бранишься, а сам смеешься — хороший знак. Ты, впрочем, сегодня гораздо со мной любезнее, чем в прошлый раз, и я понимаю отчего: это великое решение...

— Молчи про решение! — свирепо вскричал Хаджи Доган.

— Понимаю, понимаю, *c'est noble, c'est charmant*²⁰, ты идешь защищать завтра ученицу... пред отцом ее, Каракюрт-ханом... *c'est chevaleresque*²¹.

— Молчи, я тебе пинков надаю!

— Отчасти буду рад, ибо тогда моя цель достигнута: коли пинки, значит, веришь в мой реализм, потому что призраку не дают пинков. Шутки в сторону: мне ведь все равно, бранись, коли хочешь, но все же лучше быть хоть каплю повежливее, хотя бы даже со мной. А то дурак да раб, ну что за слова!

— Браня тебя, себя браню! — опять засмеялся Хаджи Доган, — ты — я, сам я, только с другою рожой. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю... и ничего не в силах сказать мне нового!

— Если я схожусь с тобою в мыслях, то это делает мне только честь, — с деликатностью и достоинством проговорил хорезмиец.

— Только все скверные мои мысли берешь, а главное — глупые. Ты глуп и пошл. Ты ужасно глуп. Нет, я тебя не вынесу! Что мне делать, что мне делать! — проскрежетал Хаджи Доган.

— Друг мой, я все-таки хочу быть благородным и чтобы меня так и принимали, — в припадке некоторой чисто приживальщицкой и уже вперед уступчивой и добродушной амбиции начал гость. — Я беден, но... не скажу, что очень честен, но... обыкновенно в обществе принято за аксиому, что я падший ангел. Дзе-дзе, не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь ангелом. Если и был когда, то так давно, что не грешно и забыть. Теперь я дорожу лишь репутацией порядочного человека и живу как придется, стараясь быть приятным. Я людей люблю искренне — о, меня во многом оклеветали! Здесь, когда временами я к вам переселяюсь, моя жизнь протекает вроде чего-то как бы и в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные урав-

²⁰ Это благородно, это прекрасно (франц.).

²¹ Это по-рыцарски (франц.).

нения! Я здесь хожу и мечтаю, я люблю мечтать. К тому же на земле я становлюсь суеверен — не смейся, пожалуйста: мне именно это-то и нравится, что я становлюсь суеверен. Я здесь все ваши привычки принимаю: я в баню полюбил ходить, можешь ты это представить, и люблю с купцами и имамами париться. Моя мечта это — воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал — войти в мечеть и помолиться от чистого сердца, дзе-дзе. Тогда предел моим страданиям. Вот тоже лечиться у вас полюбил: весной оспа пошла, я пошел и в воспитательном доме себе оспу привил — если б ты знал, как я был в тот день доволен: на братьев хорезмийцев десять динаров пожертвовал!.. Да ты не слушаешь. Знаешь, ты что-то очень сегодня не по себе, — помолчал немного господин. — Я знаю, ты ходил вчера к тому лекарю... ну, как твое здоровье? Что тебе лекарь сказал?

— Дурак! — отрезал Хаджи Доган.

— Зато ты-то как умен. Ты опять бранишься? Я ведь не то чтоб из участия, а так. Пожалуй, не отвечай. Теперь вот ревматизмы опять пошли...

— Дурак, — повторил опять дервиш.

— Ты все свое, а я вот такой ревматизм прошлого года схватил, что до сих пор вспоминаю.

— У джинна ревматизм?

— Почему же и нет, если я иногда воплощаюсь. Воплощаюсь, так и принимаю последствия. Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto²².

— Как, как? Сатана sum et nihil humanum... это неглупо для джинна!

— Рад, что наконец угодил.

— А ведь это ты взял не у меня, — остановился вдруг Хаджи Доган как бы пораженный, — это мне никогда в голову не приходило, это странно...

— C'est du nouveau n'est ce pas?²³ На этот раз я поступлю честно и объясню тебе. Слушай: в снах, и особенно в кошмарах, ну, там, от расстройства желудка или чего-нибудь, иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такую интригой, с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на чекмене, что, клянусь тебе, Ибн аль-Мукаффа не сочинит, а между тем видят такие сны иной раз вовсе не сочинители, совсем самые заурядные люди, судейские чиновники, купцы, имамы... Насчет этого даже целая задача: один визирь так даже мне сам признавался, что все лучшие идеи его приходят к нему, когда он спит. Ну вот так и теперь. Я хоть и твоя галлюцинация, но, как и в кошмаре, я говорю вещи оригинальные, какие тебе до сих пор в голову не приходили, так что уже вовсе не повторяю твоих мыслей, а между тем я только твой кошмар, и больше ничего.

— Лжешь. Твоя цель именно уверить, что ты сам по себе, а не мой кошмар, и вот ты теперь подтверждаешь сам, что ты сон.

— Друг мой, сегодня я взял особую методу, я потом тебе растолкую. Постой, где же я остановился? Да, вот я тогда простудился, только не у вас, а еще там...

— Где там? Скажи, долго ли ты у меня пробудешь, не можешь уйти? — почти в отчаянии воскликнул Хаджи Доган. Он оставил ходить, сел на диван, опять облокотился на стол и стиснул обеими руками голову. Он сорвал с себя мокрую чалму и с досадой отбросил ее: очевидно, не помогало.

— У тебя расстроены нервы, — заметил хорезмиец с развязно-небрежным, но совершенно дружелюбным, однако, видом, — ты сердись на меня даже за то, что я мог

²² Я сатана, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

²³ Это ново, не правда ли? (франц.).

простудиться, а между тем произошло оно самым естественным образом. Я тогда поспешал на один прием к одной высшей хорезмийской госпоже, которая метила в визири. Ну, чекмень, белый пояс, чалма, и, однако, я был еще Аллах знает где, и чтобы попасть к вам на землю, предстояло еще перелететь пространство... конечно, это один только миг, но ведь и луч света от солнца идет целых восемь минут, а тут, представь, в чекмене. Духи не замерзают, но уж когда воплотился, то... словом, светренничал, и пустился, а ведь в пространствах-то этих, в эфире-то, в воде-то этой, я же бе над твердию, — ведь это такой мороз... то есть какое мороз — это уж и морозом назвать нельзя, можешь представить: сто пятьдесят градусов ниже нуля! Известна забава хорезмийских дев: на тридцатиградусном морозе предлагают новичку лизнуть топор; язык мгновенно примерзает, и олух в кровь сдирает с него кожу; так ведь это только на тридцати градусах, а на ста-то пятидесяти, да тут только палец, я думаю, приложить к топору, и его как не бывало, если бы... только там мог случиться топор...

— А там может случиться топор? — рассеянно и гадливо перебил вдруг Хаджи Доган. Он сопротивлялся изо всех сил, чтобы не поверить своему бреду и не впасть в безумие окончательно.

— Топор? — переспросил гость в удивлении.

— Ну да, что станется там с топором? — с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал дервиш.

— Что станется в пространстве с топором? *Quelle idée!*²⁴ Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора, Ибн Баджа внесет в календарь, вот и все.

— Ты глуп, ты ужасно глуп! — строптиво сказал Хаджи Доган. — Ври умнее, а то я не буду слушать. Ты хочешь побороть меня реализмом, уверить меня, что ты ешь, но я не хочу верить, что ты ешь! Не поверю!

— Да я и не вру, все правда; к сожалению, правда почти всегда бывает нестроумна. Ты, я вижу, решительно ждешь от меня чего-то великого, а может быть, и прекрасного. Это очень жаль, потому что я даю лишь то, что могу.

— Не философствуй, осел!

— Какая тут философия, когда вся правая сторона отнялась, кряхчу и мычу. Был у всей медицины: распознать умеют отлично, всю болезнь расскажут тебе, как по пальцам, ну а вылечить не умеют. Ученик тут один случился восторженный: если вы, говорит, и умрете, то зато будете вполне знать, от какой болезни умерли! Опять-таки эта их манера отсылать к лекарям: мы, дескать, только распознаем, а вот поезжайте к такому-то лекарю, он уже вылечит. Совсем, совсем, я тебе скажу, исчез прежний знахарь, который ото всех болезней лечил, теперь только одни лекари и все в книгах публикуются. Заболит у тебя нос, тебя шлют в Париж: там, дескать, франкский лекарь носы лечит. Приедешь в Париж, он осмотрит нос: я вам, скажет, только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу, это не моя специальность, а поезжайте после меня в Вену, там вам особый лекарь левую ноздрю долечит. Что будешь делать? Прибегнул к народным средствам, один немец-лекарь посоветовал в бане на полке медом с солью вытереться. Я, единственно чтобы только в баню лишний раз сходить, пошел: выпачкался весь, и никакой пользы. С отчаяния Амиру Кабусу в Тегеран написал; прислал книгу и капли, Аллах с ним. И вообрази: эликсир Абу Али ибн Сины помог! Купил нечаянно, выпил полторы стеклянки, и хоть танцевать, все как рукой сняло. Непременно положил ему «спасибо» в книге напечатать, чувство благодарности заговорило, и вот вообрази, тут уже другая история пошла: ни в одной-то типогра-

²⁴ Какая идея! (франц.).

фии не принимают! «Ретроградно очень будет, — говорят, — никто не поверит, le diable n'existe point²⁵. Вы, — советуют, — напечатайте анонимно». Ну какое же «спасибо», если анонимно. Смеюсь с купцами: «Это в Аллаха, — говорю, — в наш век ретроградно верить, а ведь я джинн, в меня можно». — «Понимаем, — говорят, — кто же в джинна не верит, а все-таки нельзя, направлению повредить может. Разве в виде шутки?» Ну в шутку-то, подумал, будет неостроумно. Так и не напечатали. И веришь ли, у меня даже на сердце это осталось. Самые лучшие чувства мои, как, например, благодарность, мне формально запрещены единственно социальным моим положением.

— Опять в философию въехал! — ненавистно проскрежетал Хаджи Доган.

— Аллах меня убереги, но ведь нельзя же иногда не пожаловаться. Я человек оклеветанный. Вот ты поминутно мне, что я глуп... Друг мой, не в одном уме дело! У меня от природы сердце доброе и веселое, «я ведь тоже разные песенки». Ты, кажется, решительно принимаешь меня за поседелого плясуна, и, однако, судьба моя гораздо серьезнее. Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен «отрицать», между тем я искренне добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступай отрицать, без отрицания-де не будет критики... Без критики будет одна «осанна». Но для жизни мало одной «осанны», надо чтоб «осанна»-то эта переходила через горнило сомнений, ну и так далее, в этом роде. Я, впрочем, во все это не ввязываюсь, не я сотворил, не я и в ответе... Мы эту комедию понимаем: я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо чтобы были происшествия. Вот и служу скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но... все же зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие — все обратилось бы в один бесконечный намаз: оно свято, но скучновато. Ну а я? Я страдаю, а все же не живу. Я икс в неопределенном уравнении. Я какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начала и даже сам позабыл наконец, как и назвать себя. Ты смеешься... нет, ты не смеешься, ты опять сердисься. Ты вечно сердисься, тебе бы все только ума, а я опять-таки повторю тебе, что я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и Аллаху молиться.

— Уж и ты в Аллаха не веришь? — ненавистно усмехнулся Хаджи Доган.

— То есть как тебе это сказать, если ты только серьезно...

— Есть Аллах или нет? — опять со свирепой настойчивостью крикнул дервиш.

— А, так ты серьезно? Досточтимый мой, не знаю, вот великое слово сказал.

— Не знаешь, а Аллаха видишь? Нет, ты не сам по себе, ты — я, ты есть я, и более ничего! Ты дрянь, ты моя фантазия!

— То есть, если хочешь, я одной с тобой философии, вот это будет справедливо. Je pense donc je suis²⁶, это я знаю наверно, остальное же все, что кругом меня, все эти миры, Аллах и даже сам иблис — все это для меня не доказано, существует ли оно само по себе или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего я, существующего доременно и единолично... словом, я быстро прерываю, потому что ты, кажется, сейчас драться вскочишь.

— Лучше бы ты какую историю! — болезненно проговорил Хаджи Доган.

— История есть и именно на нашу тему, то есть это не история, а так, легенда. Ты вот укоряешь меня в неверии: «видишь-де, а не веришь». Но, друг мой, ведь не я же

²⁵ Дьявола-то больше не существует (франц.).

²⁶ Я мыслю, следовательно, я существую (франц.).

один таков, у нас там все теперь помутилось, и все от ваших наук. Еще пока были атомы, пять чувств, четыре стихии, ну тогда все кое-как клеилось. Атомы-то и в древнем мире были. А вот как узнали у нас, что вы там открыли у себя «химическую молекулу», да «протоплазму», да шайтан знает что еще — так у нас и поджали хвосты. Просто сумбур начался; главное — суеверие, сплетни; сплетен ведь и у нас столько же, сколько у вас, даже капельку больше, а наконец, и доносы, у нас ведь тоже есть такое одно отделение, где принимают известные «сведения». Так вот эта дикая легенда, еще средних наших веков — не ваших, а наших, — и никто-то ей не верит даже и у нас, кроме семипудовых купчих, то есть опять-таки не ваших, а наших купчих. Все, что у вас есть, — есть и у нас, это я уж тебе по дружбе одну тайну нашу открываю, хоть и запрещено. Легенда-то эта об рае. Был, дескать, здесь у вас на земле один такой мыслитель и философ, «все отвергал, законы, совесть, веру», а главное — будущую жизнь. Помер, думал, что прямо во мрак и смерть, а перед ним — будущая жизнь. Изумился и вознегодовал: «Это, говорит, противоречит моим убеждениям». Вот его за это и присудили... то есть, видишь, ты меня извини, я ведь передаю сам, что слышал, это только легенда... присудили, видишь, его, чтобы прошел во мраке квадриллион километров (у нас ведь теперь на километры), и когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и все простят...

— А какие муки у вас на том свете, кроме-то квадриллиона? — с каким-то странным оживлением прервал Хаджи Доган.

— Какие муки? Ах, и не спрашивай: прежде было и так и сяк, а ныне все больше нравственные пошли, «угрызения совести» и весь этот вздор. Это тоже от вас завелось, от «смягчения ваших нравов». Ну и кто же выиграл, выиграли одни бессовестные, потому что ж ему за угрызения совести, когда и совести-то нет вовсе. Зато пострадали люди порядочные, у которых еще оставалась совесть и честь... То-то вот реформы-то на неприготовленную-то почву, да еще списанные с чужих учреждений, — один только вред! Древний огонек-то лучше бы. Ну, так вот этот осужденный на квадриллион постоял, посмотрел и лег поперек дороги: «Не хочу идти, из принципа не пойду!» Возьми душу хорезмийского просвещенного атеиста и смешай с душой пророка Ионы, будировавшего во чреве китове три дня и три ночи, — вот тебе характер этого улегшегося на дороге мыслителя.

— На чем же он там улегся?

— Ну, там, верно, было на чем. Ты не смеешься?

— Молодец! — крикнул Хаджи Доган, все в том же странном оживлении. Теперь он слушал с каким-то неожиданным любопытством. — Ну что ж, и теперь лежит?

— То-то и есть, что нет. Он пролежал почти тысячу лет, а потом встал и пошел.

— Вот осел-то! — воскликнул дервиш, нервно захохотав, все как бы что-то усиленно соображая. — Не все ли равно, лежать ли вечно или идти квадриллион верст? Ведь это биллион лет ходу?

— Даже гораздо больше, вот только нет каляма и бумажки, а то бы рассчитать можно. Да ведь он давно уже дошел, и тут-то и начинается история.

— Как дошел! Да где ж он биллион лет взял?

— Да ведь ты думаешь все про нашу теперешнюю землю! Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась: ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля — ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...

— Ну-ну, что же вышло, когда дошел?

— А только что ему отворили в рай, и он вступил, то, не пробыв еще двух секунд — и это по часам, по солнечным часам, — не пробыв двух секунд, воскликнул, что за эти две секунды не только квадриллион, но квадриллион квадриллионов пройти можно, да еще возвысив в квадриллионную степень! Словом, пропел «осанну», да и переселился, так что иные там, с образом мыслей поблагороднее, так даже руки ему не хотели подать на первых порах: слишком-де уж стремительно в консерваторы перескочил. Хорезмская натура. Повторяю: легенда. За что купил, за то и продал. Так вот еще какие там у нас обо всех этих предметах понятия ходят.

— Я тебя поймал! — вскричал Хаджи Доган с какою-то почти детскою радостью, как бы уже окончательно что-то припомнив. — Эту историю о квадриллионе лет — это я сам сочинил! Мне было тогда двенадцать лет, я был в учениках... я эту историю тогда сочинил и рассказал одному товарищу, Абу-Саиду, это было в Бухаре... История эта так характерна, что я не мог ее ниоткуда взять. Я ее было забыл... но она мне припомнилась теперь бессознательно — мне самому, а не ты рассказал! Как тысячи вещей припоминаются иногда бессознательно, даже когда казнить везут... во сне припомнилась. Вот ты и ешь этот сон! Ты сон и не существуешь!

— По азарту, с каким ты отвергаешь меня, — засмеялся джинн, — я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь.

— Нимало! На сотую долю не верю!

— Но на тысячную веришь. Гомеопатические-то доли ведь самые, может быть, сильные. Признайся, что веришь, ну на десятитысячную...

— Ни одной минуты! — яростно вскричал Хаджи Доган. — Я, впрочем, желал бы в тебя поверить! — странно вдруг прибавил он.

— Эге! Вот, однако, признание! Но я добр, я тебе и тут помогу. Слушай: это я тебя поймал, а не ты меня! Я нарочно тебе твою же историю рассказал, которую ты уже забыл, чтобы ты окончательно во мне разуверился.

— Лжешь! Цель твоего появления уверить меня, что ты ешь.

— Именно. Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия — это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься. Я именно, зная, что ты капельку веришь в меня, подпустил тебе неверия уже окончательно, рассказав этот анекдот. Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель. Новая методика: ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас меня же в глаза начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом деле, я тебя уж знаю; вот я тогда и достигну цели. А цель моя благородная. Я в тебя только крохотное семечко веры брошу, а из него вырастет дуб — да еще такой дуб, что ты, сидя на дубе-то, в «отцы пустынноики и в жены непорочны» пожелаешь вступить; ибо тебе очень, очень того втайне хочется, акриды кушать будешь, спастись в пустыню поташишься!

— Так ты, негодяй, для спасения моей души стараешься?

— Надо же хоть когда-нибудь доброе дело сделать. Злишься-то ты, злишься, как я погляжу!

— Шут! А искушал ты когда-нибудь вот этих-то, вот что акриды-то едят да по семнадцати лет в голой пустыне молятся, мохом обросли?

— Досточтимый мой, только это и делал. Весь мир и миры забудешь, а к одному такому прилепишься, потому что диамант-то уж очень драгоценен; одна ведь такая душа стоит иной раз целого созвездия — у нас ведь своя арифметика. Победа-то драгоценна! А ведь иные из них, не ниже тебя по развитию, хоть ты этому и не поверишь: такие бездны веры и неверия могут созерцать в один и тот же момент, что, право, иной раз кажется, только бы еще один волосок — и полетит человек «вверх тормашки», как говорит актер Шакибай.

— Ну и что ж, отходил с носом?

— Друг мой, — заметил сентенциозно гость, — с носом все же лучше отойти, чем иногда совсем без носа, как недавно еще изрек один болящий хан (должно быть, знахарь лечил) на исповеди своему имаму. Я присутствовал — просто прелесть. «Возвратите мне, — говорит, — мой нос!» И бьет себя в грудь. «Правоверный мой, — виляет имам, — по неисповедимым судьбам провидения все восполняется, и видимая беда влечет иногда за собою чрезвычайную, хотя и невидимую выгоду. Если строгая судьба лишила вас носа, то выгода ваша в том, что уже никто во всю вашу жизнь не осмелится вам сказать, что вы остались с носом». — «Святейший, это не утешение! — восклицает отчаянный. — Я был бы, напротив, в восторге всю жизнь каждый день оставаться с носом, только бы он был у меня на надлежащем месте!» — «Правоверный мой, — вздыхает имам, — всех благ нельзя требовать разом, и это уже ропот на провидение, которое даже и тут не забыло вас; ибо если вы вопиете, как возопили сейчас, что с радостью готовы бы всю жизнь оставаться с носом, то и тут уже косвенно исполнено желание ваше: ибо, потеряв нос, вы тем самым все же как бы остались с носом...»

— Фу, как глупо! — крикнул Хаджи Доган.

— Друг мой, я хотел только тебя рассмешить, но, клянусь, это настоящая казуистика, и, клянусь, все это случилось буква в букву, как я изложил тебе. Случай этот недавний и доставил мне много хлопот. Несчастный хан, возвратясь домой, в ту же ночь повесился; я был при нем неотлучно до последнего момента... Что же до исповедальных этих молелен, то это воистину самое милое мое развлечение в грустные минуты жизни. Вот тебе еще один случай, совсем уж на днях. Приходит к старику имаму дева, бухарочка, лет двадцати. Красота, телеса, натура — слюнки текут. Нагнулась, шепчет имаму свой грех. «Что ты, правоверная моя, неужели ты опять уже пала?.. — восклицает имам. — О, что я слышу: уже не с тем. Но доколе же это продолжится, и как тебе это не стыдно!» — «Ah mon père²⁷, — отвечает грешница, вся в покаянных слезах. — Ça lui fait tant de plaisir et à moi si peu de peine!»²⁸ Ну представь себе такой ответ! Тут уж и я отступился: это крик самой природы, это, если хочешь, лучше самой невинности! Я тут же отпустил ей грех и повернулся было идти, но тотчас же принужден был и воротиться: слышу, имам ей назначает вечером свидание, а ведь старик — камень, и вот пал в одно мгновение! Природа-то, правда-то природы взяла свое! Что, опять воротить нос, опять сердиться? Не знаю уж, чем и угодить тебе...

— Оставь меня, ты стучишь в моем мозгу, как неотвязный кошмар, — болезненно простонал Хаджи Доган в бессилии пред своим видением, — мне скучно с тобою, невыносимо и мучительно! Я бы много дал, если бы мог прогнать тебя!

— Повторяю, умерь свои требования, не требуй от меня «всего великого и прекрасного» и увидишь, как мы дружно с тобой уживемся, — внушительно проговорил хорезмиец. — Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, «гремя и блистая», с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде. Ты оскорблен, во-первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гордости: как, дескать, к такому великому человеку мог войти такой пошлый джинн? Нет, в тебе таки есть эта романтическая струйка, столь осмеянная еще Омаром Хайямом. Что делать, дорогой человек. Я вот думал давеча, собираясь к тебе, для шутики предстать в виде отставного визиря, служившего в Тегеране, со звездой Льва и Солнца на чекмене, но решительно побоялся, потому ты избил бы меня только за то, как я смел прицепить на чекмень Льва и Солнце, а не прицепил, по крайней мере, Полярную звезду али Сириуса. И все ты о том, что я глуп. Но Аллах мой, я и претензий

²⁷ Ах, мой отец (франц.).

²⁸ Это доставляет ему такое удовольствие, а мне так мало труда! (франц.).

не имею равняться с тобой умом. Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро. Ну, это как ему угодно, я же совершенно напротив. Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренне желает добра. Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника, я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих: «Осанна», и громовый вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и все мироздание. И вот, клянусь же всем, что есть свято, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми: «Осанна!» Уже слетало, уже рвалось из груди... я ведь, ты знаешь, очень чувствителен и художественно восприимчив. Но здравый смысл — о, самое несчастное свойство моей природы — удержал меня и тут в должных границах, и я пропустил мгновение! Ибо что же, подумал я в ту же минуту, что же бы вышло после моей-то «осанны»? Тотчас бы все угасло на свете и не стало бы случаться никаких происшествий. И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакосях. Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости. Но я не завидую чести жить нашаромыжку, я не честолюбив. Почему изо всех существ в мире только я лишь один обречен на проклятия ото всех порядочных людей и даже на пинки сапогами, ибо, воплощаясь, должен принимать иной раз и такие последствия? Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись, в чем дело, рявкну «осанну», и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему, даже книгам, потому что кто ж их тогда станет покупать. Я ведь знаю, в конце концов я помирюсь, дойду и я мой квадриллион и узнаю секрет. Но пока это произойдет, будирую и скрепя сердце исполняю мое назначение: губить тысячи, чтобы спастись один. Сколько, например, надо было погубить душ и опозорить честных репутаций, чтобы получить одного только праведного Иова, на котором меня так зло поддели во время оно! Нет, пока не открыт секрет, для меня существуют две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя. И еще неизвестно, которая будет почище... Ты заснул?

— Еще бы, — злобно простонал Хаджи Доган, — все, что ни есть глупого в природе моей, давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, отброшенного, как падаль, — ты мне же подносишь как какую-то новость!

— Не потрафил и тут! А я-то думал тебя даже литературным изложением прельстить: эта «осанна»-то в небе, право, недурно ведь у меня вышло? Затем сейчас этот саркастический тон à la Хайям, а, не правда ли?

— Нет, я никогда не был таким рабом! Почему же душа моя могла породить такого раба, как ты?

— Друг мой, я знаю одного прелестнейшего и милейшего хорезмийца: мыслителя и большого любителя литературы и изящных вещей, автора поэмы, которая обещает, под названием: «Фаталист»... Я его только и имел в виду!

— Я тебе запрещаю говорить о «Фаталисте», — воскликнул Хаджи Доган, весь покраснев от стыда.

— Ну, а «В Персию»? Помнишь? Вот это так уж поэмка!

— Молчи, или я убью тебя!

— Это меня-то убьешь? Нет, уж извини, выскажу. Я и пришел, чтоб угостить себя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких хорезмийцев, трепещущих жаждой жизни друзей моих! «Там новые люди, — решил ты еще прошлую весной, сюда собираясь, — они полагают разрушить все и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить

в человечестве идею об Аллахе — вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать — о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от Аллаха (а я верю, что этот период — параллель геологическим периодам — совершится), то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность и наступит все новое. Люди совоюются, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человекобог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Аллах. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную»... ну и прочее, и прочее в том же роде. Премило!

Хаджи Доган сидел, зажав себе уши руками и смотря в землю, но начал дрожать всем телом. Голос продолжал:

— Вопрос теперь в том, думал мой мыслитель: возможно ли, чтобы такой период наступил когда-нибудь или нет? Если наступит, то все решено и человечество устроится окончательно. Но так как ввиду закоренелой глупости человеческой это, пожалуй, еще и в тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему «все позволено». Мало того: если даже период этот и никогда не наступит, но так как Аллаха и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человекобогом, даже хотя бы одному в целом мире, и, уж конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для Аллаха не существует закона! Где станет Аллах — там уже место Его! Где стану я, там сейчас же будет первое место... «все дозволено», и шабаш! Все это очень мило; только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш хорезмийский современный человек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил...

Гость говорил, очевидно увлекаясь своим красноречием, все более и более возвышая голос и насмешливо поглядывая на хозяина; но ему не удалось докончить: Хаджи Доган вдруг схватил со стола пиалу и с размаху пустил в оратора.

— Ah, mais c'est bête enfin!²⁹ — воскликнул тот, вскакивая с дивана и смахивая пальцами с себя брызги чая. Сам же меня считает за сон и кидается пиалами в сон! Это по-женски! А ведь я так и подозревал, что ты делал только вид, что заткнул свои уши, а ты слушал...

В ставню окна вдруг раздался со двора твердый и настойчивый стук. Хаджи Доган вскочил с дивана.

— Слышишь, лучше отвори, — вскричал гость, — это ученик твой Осман с самым неожиданным и любопытным известием, уж я тебе отвечаю!

— Молчи, обманщик, я прежде тебя знал, что это Осман, я его предчувствовал, и, уж конечно, он недаром, конечно с «известием»!.. — воскликнул испуганно дервиш.

— Отопри же, отопри ему. На дворе метель, а он ученик твой. C'est à ne pas mettre un chien dehors...³⁰

²⁹ Ах, но это же глупо, наконец! (франц.).

³⁰ В такую погоду и собаку на двор не выгоняют... (франц.).

Стук продолжался. Хаджи Доган хотел было кинуться к окну; но что-то как бы вдруг связало ему ноги и руки. Изю всех сил он напрягался как бы порвать свои путы, но тщетно. Стук в окно усиливался все больше и громче. Наконец вдруг порвались путы, и Хаджи Доган аль-Бухари вскочил на диване. Он дико осмотрелся. Оба глиняных светильника почти догорели, пиала, которой он только что бросил в своего гостя, стояла пред ним на столе, а на противоположном диване никого не было. Стук в окно хотя и продолжался настойчиво, но совсем не так громко, как сейчас только мерещилось ему во сне, напротив, очень сдержанно.

— Это не сон! Нет, клянусь, это был не сон, это все сейчас было! — вскричал дервиш, бросился к окну и отворил ставню.

— Осман, я ведь не велел приходить! — свирепо крикнул он ученику. — В двух словах: чего тебе надо? В двух словах, слышишь?

— Час тому назад зарезан Каракюрт-хан, — ответил со двора Осман.

— Пройди на крыльцо, сейчас отворю тебе, — сказал Хаджи Доган и пошел отворять ученику.

Глава четвертая

ДВЕНАДЦАТЬ КИНЖАЛЬНЫХ УДАРОВ

От убийства (казни за преступление) можно откупиться пенею, заплатив за мусульманина срок золотых монет (барыш), а за китайца считывались одним ослом.

Ибн Баттута. Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий

Ветер дул с севера, с зимней стороны. Мертвый и окаянный Каракюрт-хан уже был внесен в дом, а снег, устилавший сад, пятнала ноздреватая рыжая руда. Судейский чиновник Оздемир-Ходжа только что осмотрел садовую дорожку, возле которой старый Назар-Кирязек нашел своего господина, и потребовал у домоуправителя собрать всех домочадцев и слуг. Оздемир-Ходжа вдруг осознал, что искать нужно именно здесь. Вряд ли ассасины³¹ нанесли бы двенадцать колотых ран, да и на ритуальное убийство это не походило. Кинжал из дамасской стали был неподходящим орудием для неуловимых убийц или религиозных фанатиков: слишком дорогой, чтобы они могли его себе позволить. О том, что это был именно такой кинжал, Оздемир-Ходжа знал наверняка. Судейский чиновник подобрал его в кустах жухлой полыни, припорошенной снегом. Явно, что он был обронен в спешке и, как указал потом старый, верный Назар-Кирязек, принадлежал хозяину. А именно — был взят из его богатой коллекции оружия.

Вот и следствие проводилось в спешке, вборзе — ведь оно могло быть закончено уже вскоре.

«Пока не рассыплешь зерна, не снимешь жатвы...» — мелькало у Оздемир-Ходжи, догадавшегося, что убийцы никуда не делись, не сбежали, они тут, они поблизости.

Когда пришел час дневного времени и дервиш Хаджи Доган аль-Бухари переступил порог этого скорбного дома, дочери Каракюрт-хана уже были взяты под стражу и водворены в зиндан³². Они не взвешивали слов на весах осторожности, а, напротив, повинились:

³¹ Ассасины — орден тайных убийц, существовавший между 1090 и 1275 годами.

³² Зиндан — подземная тюрьма.

— Я ударила отца кинжалом четырежды, — призналась Эмель-Джамал.
— Я также, — подтвердила, тяжело вздохнув, Йилдиз-Джамал.
— Да, четыре, — растягивая слова, проговорила, Кюгю-Джамал, — четыре удара нанесены и мною...

Отцеубийцы сократили свои речи, не пожелав рассказать, зачем они пролили кровь, и судейский чиновник крепко задумался. Потому приход Хаджи Догана аль-Бухари и ожидался им с таким нетерпением: дервиш, учивший дев молодых, мог бы снять покровы с тайны. И вот он, сопровождаемый Османом, явился, принеся с собой книгу в кожаном переплете и калямницу³³.

— Слава Аллаху, Господу миров! — воскликнул Оздемир-Ходжа. — Рад, рад, досто-почтенный Хаджи Доган, что...

Проговорив имя дервиша, судейский чиновник осекся, пораженный его растерзанным видом, но потом продолжил:

— Вас будто жаром молнии опалило...

— Оздемир-Ходжа, простите великодушно... Кошмар во всю ночь... Недомогаю, как далеко зашедший в годах...

— О, понимаю! Ответьте тогда на один вопрос, и, закаявшись о чем-либо еще спрашивать, я прикажу Осману проводить вас домой.

— Что бы вы желали узнать?

— Э-э, гляжу на узорчатый булат, — заторопился Оздемир-Ходжа, — и не постигаю, что могло бы подвигнуть дев молодых на убийство отца... Двенадцать кинжальных ударов, да еще в сердце — тут и подумать страшно, а они вон решились... Отчего? Не Ибли́с ли украсил это дело в их мыслях?

Дервиш, словно вкушая последствия того, что он сделал, задумался, помолчал и сказал:

— Не только Ибли́с, но и обида... Жестокая обида, нанесенная Каракюрт-ханом своим дочерям. Ведь он сжил со свету их мать, выгнал из дома их брата. Преступно зажил с Йилдиз-Джамал как с женщиной... Кюгю-Джамал он бил тузовыми прутьями и также понуждал лечь с ним... А вот Эмель-Джамал он колот железом убийственным... — указал вдруг на кинжал в руках Оздемир-Ходжи дервиш. — И непременно заколот бы... А я... я не отвел бы руку его... Не успел бы... Дзе-дзе, смутила беда их дни!

— Досточтимый Хаджи Доган, помедлите и не спешите к тому, чему хотите вы...

— Внимание и повиновение! — поклонился дервиш.

— Девы молодые в зиндане — а там уж палач, и меч, и ковер его... Так виновны ли они? Или безвинны?

— Зачем утешаться стану я немислимым? — проговорил Хаджи Доган. — Да разве аредское дело³⁴ оставят? Да разве несчастных простят?

— А вы простили бы? — вскинулся судейский чиновник. — Взяли бы выкуп? Отпустили бы на четыре стороны?

Хаджи Доган аль-Бухари снял высокий колпак и вздохнул:

— Сказка говорит...³⁵ Прости мне проступок мой — споткнулась моя нога...

³³ Калямница — пенал, обыкновенно искусно разрисованный. В нем хранились перья, вырезанные из камыша, и бронзовая чернильница.

³⁴ Аредское дело — злое, недоброе дело. Сам же Аред был злой, выживший из ума старик; от имени библейского персонажа Иареда, который прожил около тысячи лет (962 года). «Аредское дело самое злое, ехидное, сатанинское» (В. И. Даль).

³⁵ Собиратель фольклора, историк и литературовед А. Н. Афанасьев писал: «...сказка, как создание целого народа, не терпит ни малейшего намеренного уклонения от добра и правды; она требует наказания всякой неправды и представляет добро торжествующим над злобою».

— Этот проступок — убийство, — оглаживая ассирийскую бороду, возразил Оздемир-Ходжа. — Убийство... не забываете!

Дервиш вновь поклонился:

— Я вижу, недуги мира множатся над несчастными девами, и нет уст для утешения... Добавить же ничего не могу: ученицы мои — не виновны... И да, без тагута³⁶ здесь не обошлось... Подвертел окаянный...

Помедлив, дервиш продолжил:

— О ты, погружившийся в мрак ночи и гибели,

Усилья умерь свои: надел не труды дают...

Судейский чиновник ближе придвинулся к Хаджи Догану, но не для того, чтобы ответить, а чтобы внемлить ему, ведь стих проникал в душу.

— И тайна души моей — толмач моих тайных дум,

Тайное тайн моих — о вас мысли тайные...

И так беседовали они, пока ото дня осталось мало.

...Солнце уже шумело на тростинке над холмами.

Осман, препроводив дервиша домой, отправился к Илан-Торч — то ли колдунье, то ли гадалке. Недолгое время спустя он вышел от нее с кувшином молока и ячменными лепешками, завернутыми в платок. Вскоре от Илан-Торч вышел и Оздемир-Ходжа. Судейский чиновник был так чем-то озабочен, что едва не миновал дома караванщика Музафар-Малика. Пробыл Оздемир-Ходжа у караванщика, сколько требовалось, чтобы сговориться и, не жадуя, отсчитать нужное число золотых монет.

Следует предупредить, что одна из таких монет вскоре очутилась и в кармане Керим-Тулеме, стерегущего зиндан. Споспешествовал же этому ловкостью воспитанный и на ум скорый Осман. И златодушный Керим-Тулеме позволил ему на минуту-другую зайти к девам младым и угостить их молоком с ячменными лепешками. Было это незадолго до того, как явился главный хорезмский палач Махмуд Джихан-Пехлеван.

О, это было знатное явление!

Войдя в зиндан, «силач вселенной» весьма удивился: сестер Эмель-Джамал, Йилдиз-Джамал и Кюгю-Джамал там не было и в помине, но три ошетинившиеся черные собаки прянули вон, только что не сбив с ног. И голос его с трещиной невольно вымолвил: «Твой призрак всегда, вдали и вблизи, со мной...» Наверное, не без страха помыслил тогда палач о некоей тайной силе, закулисе. Это при том, что человек он «тертый, бывший и в мяле и в пяле».

Желтые же соколы, качавшиеся над Хорезмом, видели, как эти черные собаки устремились по улице и вскоре оказались в доме Илан-Торч. Если бы соколы могли удивляться, то, конечно же, они удивились бы. Чему? Да тому, что собаки покорно сели пред женщиной с лицом, похожим, как сказано в одной книге, «на пустую кожу высохшей умершей змеи».

Далее было еще любопытственней!

Змеелица Илан-Торч взяла чашку и наполнила ее водой, а потом произнесла над водой заклинания и брызнула ею на тьякуш, говоря: «Если вы собаки по творению Аллаха великого, останьтесь в этом образе и не изменяйтесь, а если вы заколдованы, примите свой прежний образ с позволения великого Аллаха!» И вдруг собаки встряхнулись и стали девами — сестрами Эмель-Джамал, Йилдиз-Джамал и Кюгю-Джамал.

Право, как тут не вспомнить: «Для всего есть хитрость, кроме смерти, — все можно исправить, кроме испорченной сущности, и все можно отразить, кроме судьбы...»

³⁶ Тагут («преступление») — одно из наименований дьявола.

Время дня вышло.

Потерпи, о царь времени, вслед терпению всегда идет благо.

И вот когда отшумевшее солнце было уже за холмами, а на стогнах града воцарилось спокойствие назарестана³⁷, делательница чудес Илан-Торч сопровождала младых дев к Музафар-Малику. Старый караванщик, опираясь на посох из ливанидова дерева³⁸, указал сестрам на больших белых верблюдов, а его помощники помогли усесться. Больше в Хорезме беглянок никто не видел, как, собственно, и каравана, отправившегося в Индию. То бишь туда, где...

Тепло, тепло, усталое тепло...

Единоземцы потом рассказывали, что Музафар-Малик, прибыв на родину Айравата³⁹, распродал не только все товары свои, но и верблюдов своих, а еще купил дом на берегу Ганга, дабы обсесться там и созерцать течение прозрачных вод. А по соседству, в большом и просторном доме, обвитом плющом, поселились и хорезмийки, приехавшие с тем же, последним, караваном. О, это был лепный уголок! Повсюду цветы, цветы, цветы. Розовенье днем, лунность ночью и медвяные запахи всегда.

Местные не знали, что означают имена красавиц, чьи глаза так блестят черным светом. И все же местным нравилось само звучание их имен: Эмель-Джамал, Йилдиз-Джамал и Кюгю-Джамал. Влекли они и стройностью, и соразмерностью, и соломоновой печатью на устах, и потому всем хотелось доброжелательствовать им. Да так — без двоемыслия.

А месяца пестрели и пестрели...

И наконец посреди блажного июля, к дому красавиц прискакали давно ожидаемые всадники, джигиты и показывая ширину своих плеч. Одного, забубенного, звали Левентом, и приходился он братом хорезмийкам, а другого, не менее забубенного, величали Османом-обрученником. Он и впрямь был обрученником самой младой и самой велелепной из сестер — Эмель-Джамал. И это словно о ней реклось: «...была совершенна по красоте и походила на нежную ветвь или стебель базилики и ошеломляла и смущала ум». И вот обрадовалась она радостью, которой нет сильнее. И стали тогда гулять они по берегу Ганга, и Осман-обрученник зачитывал невесту свою стихами. Звучали во время темных вечеров и такие:

Наш мир — аллея молодая роз,
Хор соловьев, прозрачный рой стрекоз.
А осенью? Безмолвие, и звезды,
И мрак твоих распущенных волос...

А вчуже, в далеком Хорезме, в безлюбье, дервиш и их старый учитель Хаджи Доган аль-Бухари склонял голову над листами бумаги и при слабом мерцании глиняного светильника с небывалым доселе напряжением — из-за немеющей руки и саднящего сердца — выводил арабской вязью. Да, прожив, сколько прожил, он больше не читал книг греческих, персидских, византийских, франкских и сирийских. Да, он писал теперь свою. Вернее, подступал к ней изустно, а потом что-то и набрасывал, записывал,

³⁷ Назарестан — кладбище.

³⁸ Ливанидово дерево — кедр ливанский.

³⁹ Айравата — самый известный слон в индийской мифологии, он же вахана, то есть транспортное средство ведического царя богов Индры.

делая начаток, начин. И книга могла бы стать той горой ума, с которой виднее вся жизнь. Вся его жизнь, до Персии...

Глава пятая

В ПЕРСИЮ (из неоконченной книги Хаджи Догана аль-Бухари)

И когда пришла о разлуке весть, нам назначенной
Переменной дней и судьбой, всегда превратной,
Обратились мы к устам чернильницы, чтоб сетовать
На разлуки тяжесть концами острых перьев.

Тысяча и одна ночь

У камня нет кожи, у человека нет вечности.

Монгольская летопись «Алтан Тобчи»

В детстве Белолобый был похож на все хорошее. А теперь — нет. Теперь старый верблюд брел по пустыне в Персию, и ему казалось, что бредет он в исчезнувшее детство. Только там, в исчезнувшем детстве, и мог он увидеть брата с сестрой. Многие годы назад пали они на бледную засоленную землю и умерли, не поев долго редкой травы.

Жаркий войлочный воздух томил Белолобого — высокое солнце скопляло зной над старым верблюдом. Он миновал низкий саксаульник и оказался на древней караванной дороге, уходящей в Персию или дальше. Здесь, при дороге, брат с сестрой его и умерли. Но восстань они теперь из праха и спроси, что же с ним соделалось, он ответствовал бы, наверное, так:

- Я стал уродом, изувеченным и внешне, и внутренне.
- Белолобый, разве это ты?
- Это я: я прожил жизнь⁴⁰.

...За краем туши старому верблюду ничего не принадлежало, были только воспоминания в плывущей и больной голове. Вот они и питали сознание. Вспоминались целые годы хождений по твердым, набитым пескам пустыни. Солнце горело обильно, и в его сияющем свете пески превращались в дорогу, в реку, в мираж. Временами попадались сухие, чистые, обдутые ветрами курганы. Древняя караванная дорога прикасалась к подножиям этих курганов и скрывалась затем на юго-запад — в Персию.

Перед глазами Белолобого проходила вся его жизнь, похожая на горе. И только в си-неве детства было иначе или счастливо. Ранний день освещал родную местность: редкие былинки трав, кусты перекаати-поле, саксаульник, такыры⁴¹ и другую утварь природы. А еще звучал бедный голос дутара⁴². Наверное, так пели тогда пески...

Конец

⁴⁰ Одним из прототипов Белолобого (дервиша Хаджи Догана аль-Бухари) стал Андрей Платонов — «гениальный и самый необычный русский писатель XX века, классик мировой литературы, личность которого такая же загадка, как и его произведения». Несколько измененный диалог, заканчивающийся фразой «Это я: я прожил жизнь», приводится по записи 20-й книжки дневника А. П. Платонова за 1942 год.

⁴¹ Такыры — не засыпанные песками глинистые места.

⁴² Дутар — персидский двухструнный щипковый музыкальный инструмент у народов Центральной и Южной Азии. Игра на дутаре — неотъемлемая часть творчества бахшей.